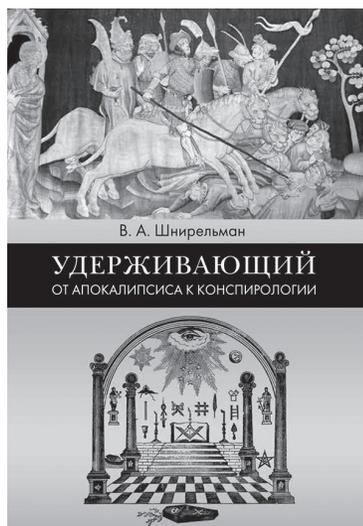


Рецензии

Удерживающий. От Апокалипсиса к конспирологии

ВИКТОР ШНИРЕЛЬМАН

М.; СПб.: Нестор-История, 2022 – 424 с.¹



История конспирологии, или теории заговора, насчитывает более двухсот лет, ее корни уходят еще глубже, а расцвет наблюдается в XX–XXI веках, когда конспирологические теории широко распространились в разных странах. История изучения этого феномена также весьма обширна и интересна: исследователи выделяли различные версии происхождения конспирологии – от психиатрических (наличие параноидального мышления, особый тип нервной системы) до вполне рациональных (использование массовых страхов и предрассудков в политических целях). Корни конспирологии иногда видят в намеренном или нет упрощении исторических явлений и процессов; в преувеличении связи чьих-либо намерений и якобы вытекающих из них результатов; в ложном видении причинно-следственных связей; в вере в то, что ничто не происходит случайно, но является

- 1 Обычно «НЗ» не публикует рецензии на книги, появившиеся более двух лет назад, но в этот раз редакция приняла решение отклониться от этого правила. Тому есть две причины: книга Виктора Шнирельмана представляет не только несомненный научный интерес – она актуальна именно сегодня; также мы попытались восполнить явный недостаток откликов на нее в печати. – *Примеч. ред.*



НОВЫЕ КНИГИ

245

следствием чьего-то плана или злой воли². В конспирологии одним из центральных моментов является вера в существование неких тайных групп, обществ или организаций, влияющих на ход истории, в том числе мировой.

Изучению истории заговоров и их специфике посвящена обширная литература, в том числе в нашей стране. Связанные с теорией заговора эсхатологические, националистические и расистские представления не раз становились предметом исследования в трудах Виктора Шнирельмана, изучающего (псевдо)интеллектуальные лабиринты и различные около-, пара-, псевдо- и лженаучные воззрения, получившие довольно широкое распространение в России в последние тридцать лет³. И это неудивительно: духовный вакуум, в котором оказалась страна после распада СССР и который власти, церковь и наука не смогли заполнить, а также кризисные явления в стране и за ее пределами порождают чувство неуверенности, страхи, желание найти ответственного за происходящее. Реально существовавшие заговоры – раскрытые до их осуществления или вовремя не раскрытые – подпитывают такие теории. Если говорить об истории России, то к ним принадлежат, например, убийство Павла I в результате заговора или сопровождавшееся различными слухами и предположениями убийство Столыпина, детали которого до сих пор до конца неясны.

Шнирельман справедливо отмечает, что распространение различных теорий заговора стало особенно заметно в наши дни. Эпоха постмодерна с утратой многими людьми моральных ориентиров, своеобраз-

ным культурным релятивизмом (спутником мультикультурализма), возникновением транснациональных сообществ, включая международные корпорации, глобализирующей ролью электронных СМИ и особенно соцсетей стала для теорий заговора весьма благоприятной. Эти процессы не могли не оказать влияния на стремительное распространение всевозможных идей, страхов и призывов, которые воспринимаются чрезвычайно широкой и разнообразной аудиторией.

И если конспирология в прошлом была делом достаточно ограниченного круга преимущественно довольно образованных людей, обычно крайне правых взглядов и весьма своеобразного склада характера, то за последние десятилетия ситуация качественно изменилась. Шнирельман вслед за Леонидом Иониным пишет о новой магической эпохе, когда вследствие упадка традиционных религий во многих локальных культурах происходит своеобразная консервативная реакция⁴ (от себя добавлю: нередко замешанная на оккультизме, эзотерике, культе силы и мифологических представлениях).

Рецензируемая книга стала своего рода итогом многолетних исследований, в том числе различных ксенофобских теорий, включая расистские, экстремистские, антисемитские и другие. Она в каком-то смысле объединяет все изучавшиеся Виктором Шнирельманом воззрения, ибо конспирология вобрала в себя ксенофобию, антисемитизм (и – шире – ненависть к Другому), а также нередко граничит с экстремизмом.

Мощный толчок популярности теорий заговора был дан Первой мировой войной,

- 2 Подробнее см.: BYFORD J. *Conspiracy Theories: A Critical Introduction*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011; *Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion*. Leiden: Brill Publishers, 2018; ШНИРЕЛЬМАН В. А. *Конспирология* // *Большая российская энциклопедия* (<https://bigenc.ru/c/konspirologia-b3cc1d>).
- 3 Из его многочисленных работ хотелось бы отметить: ШНИРЕЛЬМАН В. А. *Интеллектуальные лабиринты. Очерки идеологий в современной России*. М.: Academia, 2004; Он же. *Русское родноверие: неоязычество и национализм в современной России*. М.: ББИ, 2012; Он же. *Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной России*. М.: ББИ, 2017.
- 4 Ионин Л. Г. *Новая магическая эпоха* // *Логос*. 2005. № 5. С. 23–40.

приведшей к крушению империй и революциям, в том числе на территории России. Именно тогда обрели широкую популярность мифы о тайных организациях, стремящихся к мировому господству. Их самыми ранними образцами в конспирологии считаются по всей видимости орден тамплиеров, а также иллюминаты и масоны. С последними связано множество теорий заговора разного толка. О теориях, сопряженных с иллюминатами и масонами, Шнирельман пишет особенно подробно (им посвящена отдельная глава). Это объяснимо в силу чрезвычайной популярности подобных верований в кругах конспирологов, причем многие объединили масонов с евреями в единую тайную и злобную силу, плетущую свои сети по всему миру.

Исследователь дает развернутый обзор теорий заговора и, как всегда в своих работах, тщательный анализ посвященной им литературы. Он, как и другие авторы, занимавшиеся историей теорий заговора, обращает внимание на то, что и в наши дни многие конспирологи возводят тайные общества к ордену тамплиеров – и еще чаще к иллюминатам и масонам, а также некоторым другим (розенкрейцерам, якобинцам и прочим). Эту связь конспирологи начали усматривать еще в XVIII веке; впоследствии на первый план выходили то одни то другие, но первенство все же они отдавали масонам, а также якобы связанным с ними евреям (позднее – сионистам). При этом могущество того или иного тайного общества и замышляемого им заговора – обычно вопрос веры, а не доказательств, которые берутся из непроверенных источников, трактуются весьма произвольно и, если их не хватает или они недостаточно убедительны, их изобретают или подгоняют под данную теорию.

Говоря о теориях заговора в Европе, Виктор Шнирельман отмечает, что они зародились в рамках христианской мысли и, даже если впоследствии конспирологи отрицали христианство с тех или иных позиций, они все равно писали в русле христианской парадигмы. Замечу, отсюда и вера в могущественные силы тамплиеров-розенкрейцеров-иллюминатов и прочих, сохранившаяся в конспирологии до наших дней не только в Европе. Это вполне естественно, ибо вера в некие не просто враждебные, но сатанинские силы, борющиеся за власть над человеческими душами, ведущие мир к гибели, характерны для дуалистических религий. Это отмечают как отечественные, так и зарубежные, особенно американские, исследователи⁵. Я не зря акцентирую внимание на работах ученых из США, поскольку эту страну нередко считают классической страной конспирологии. Вместе с тем в рецензируемой книге не обойдены вниманием сторонники теорий заговора из других стран, особенно распространившихся после Первой мировой войны и русской революции 1917 года, поскольку адепты таких теорий обвиняли и продолжают обвинять в первую очередь масонов, а затем и евреев в инспирировании этих событий. Причем подобные теории плавно мигрировали из-за рубежа в Россию и обратно, будучи подхвачены нацистами, а затем и конспирологами в других странах (в частности, сторонниками жидомасонского, сионистско-масонского заговоров), в том числе в позднем СССР и постсоветских странах. При этом, как отмечает автор, конспирологи использовали и используют одни и те же фальшивки вроде «протоколов сионских мудрецов» (с. 28).

Более того, в ряде постсоветских стран стали издавать и переиздавать различные западные конспирологические произведе-

5 Например: ХЛЕБНИКОВ М.В. *Теория заговора. Опыт социокультурного исследования*. М.: Кучково поле, 2012; FENSTER M. *Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008; BARKUN M. *Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America*. Los Angeles: University of California Press, 2013.

дения вроде сочинений Игоря Калмыкова (Григория Климова). Его первая книга «Князь мира сего» вышла в США в 1970 году и была переиздана в России издательством «Вече» в 1992-м. В ней шла речь о масонах и гомосексуалистах, которые особенно волновали автора, а также о еврейских женах коммунистических вождей (как тут ни вспомнить средневековые представления о суккубах и инкубах, восходящие к архаическим ближневосточным мифам, которые в числе прочего послужили одной из основ ведовских процессов в Европе). Шнирельман убедительно показывает, почему и как подобные сочинения распространялись и распространяются в нашей стране, на какие аудитории они рассчитаны – в основном на малограмотных и ориентированных на правые идеологии читателей. Впрочем, среди этих книг есть и те, что могут привлечь сторонников левых идей (например, содержащие обвинения иллюминатов, евреев и масонов в контроле над мировыми финансами и закулисной деятельности транснациональных организаций).

Возвращаясь к христианской подоснове многих конспирологических теорий, надо вспомнить о понятии, стоящем в названии рецензируемой книги: удерживающий. Это богословский концепт (от греч. «катехон»), восходящий к христианским эсхатологическим представлениям о существовании личности или государства, препятствующих победе зла и приходу антихриста. Он восходит к словам апостола Павла (2 Фес. 2:7) о том, что «беззаконие не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». Эти не вполне ясное слово различно толковали уже ранние отцы церкви (богословы говорили о том, что удерживающий – это Римская империя, император Нерон, бог, дьявол, позднее – римский папа и другие).

Данный концепт получил особое распространение в православной традиции и особенно в русском православии. В послед-

нем постепенно сформировался взгляд, согласно которому удерживающим является православная Российская империя или православный царь. Значительный вклад в формирование именно такого понимания удерживающего сыграл Сергей Нилус, видевший в масонах и евреях мировое зло, а в Святой Руси и ее царе – такие начала, которые этому злу (Запад уже завоевавшему) могут противостоять. Именно такое понимание быстро распространилось в православных монархических кругах после революций 1917 года и расстрела царской семьи, воспринятого как сознательное уничтожение удерживающего. Поэтому автор так подробно останавливается на убийстве царской семьи, которое воспринимается конспирологами (в первую очередь православными фундаменталистами и монархистами) в том числе и как ритуальное убийство, совершенное «талмудистами» со вполне зловещими целями. Такому восприятию способствовала канонизация последнего российского императора и его семьи сначала РПЦЗ в 1981 году, а затем РПЦ в 2017-м, что сопровождалось усилением соответствующих слухов.

С тех пор роль удерживающего отдавали то Богородице, то Российскому государству (и именно это последнее воззрение и анализируется Шнирельманом). Вообще в книге наибольшее внимание уделено именно отечественным теориям заговора, их происхождению, распространению, использованию в различных целях. Об этом говорится в обширной четвертой главе рецензируемого издания, которая показала мне наиболее интересной. В ней исследователь демонстрирует вторичность отечественной конспирологии, заимствующей основные паттерны у своих западных аналогов (при всем неприятии Запада).

В СССР такие теории были под запретом, поэтому конспирология в нем развивалась иначе: это были теории заговора пантюристов, панисламистов, агентов различных

иностранных разведок, космополитов и им подобных. Все они в той или иной мере содержали «смесь архаических религиозных страхов с популистской юдофобией фашистского извода, антикапиталистической риторики с шовинистической пропагандой» (с. 99). Автор также подчеркивает, что советский антисюицизм был не более чем скрытой формой юдофобии (от себя добавлю: не только в Советском Союзе и не всегда скрытой). Этот опыт не прошел даром и был подхвачен многочисленными эпигонами в постсоветскую эпоху.

Одно из заимствований, вольно чувствующее себя на просторах отечественной конспирологии, – антисемитизм/юдофобия. Антисемитизм, бывший до начала XX века характерным прежде всего для христианской цивилизации, в последние несколько десятилетий становится все более неотъемлемой частью исламского мировоззрения, а также неоязыческих и околонуцистских взглядов; он неизбежно попадает в поле зрения исследователей, занимающихся теориями заговора⁶. О неоязычниках и их псевдоинтеллектуальных лабиринтах Виктор Шнирельман неоднократно писал в своих работах, он уделяет им значительное внимание и в рецензируемой книге, демонстрируя связь неоязычества с антисемитизмом и враждебность христианству, поскольку в христианстве многие последователи неоязычества и «арийского мифа» видят иудейскую приманку для арийской расы, а христиан и иудеев воспринимают как врагов арийцев, укравших их мудрость (с. 73).

Что касается роста антииудаизма и антисемитизма в исламском мире⁷, то этой теме в рецензируемой книге, на мой взгляд, уде-

лено недостаточно внимания. Между тем о роли исламского фактора в распространении антисемитских теорий, в том числе теорий заговора, не раз писали зарубежные ученые – например, Мишель Вевьорка, говоривший о распространенности подобных взглядов среди мусульманского населения Франции⁸.

Мощная волна антисемитизма, которая поднялась преимущественно среди мусульман и пропалестинских кругов в ряде западных стран (и не только) после нового этапа израильско-палестинского конфликта, начавшегося после терактов 7 октября 2023 года, – яркое тому свидетельство. Впрочем, в фокус этой книги Виктор Шнирельман поместил конспирологию именно христианскую, прежде всего фундаменталистскую, которая использовала и использует антисемитизм. И здесь отечественная конспирология мало что предложила нового, черпая свои идеи в основном из зарубежных работ. Тем не менее Шнирельман обращает внимание на следующее:

«В начале XXI века многие конспирологические идеи были подхвачены властью, обнаружившей в них мощное орудие национального сплочения в ответ на глобализацию и “цветные революции” в соседних странах, которые приписывались тайным проискам “Вашингтонского обкома”, за которым стояли все те же глобальные силы зла, или Нового мирового порядка» (с. 83).

Шнирельман подчеркивает, что очередной всплеск интереса к теориям заговора был, как всегда и везде, обусловлен различными кризисами (внешне- и внутривнутриполитическими, например, в прошлом это были поражение в Крымской войне, польское восстание 1863 года). В этом русле впоследст-

6 Например: BROTHERTON R. *Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy Theories*. London: Bloomsbury Publishing, 2015; Яблоков И.А. *Русская культура заговора: конспирологические теории на постсоветском пространстве*. М.: Альпина нон-фикшн, 2021.

7 Например: НОСЕНКО-ШТЕЙН Е. *Еще раз об антисемитизме и еврейской исторической памяти // Диаспоры / Diasporas*. 2011. № 2. С. 40–63.

8 ВЕВЬОРКА М. *Соблазн антисемитизма. Ненависть к евреям в сегодняшней Франции*. М.: Институт востоковедения РАН, 2006.

вии развивались теории заговора масонов и евреев, «сделавших» революции, стремящихся погубить Россию (удерживающего) и стремящихся к мировому господству.

Говоря о современных видах конспирологии в России, Виктор Шнирельман снова обращается к ее истокам в советской эпохе, выявляя несколько локусов (сохранившихся в постсоветский период): журнал «Молодая гвардия» и его окружение; писатели-«деревенщики» и некоторые региональные историки; «Клуб антисемитов» Ивана Милованова при ЦК КПСС и другие. Впоследствии эта гремучая смесь из православной эсхатологии, вульгарного марксизма, сталинизма, антисемитизма и невежества не раз проявлялась в постсоветскую эпоху, в том числе в публикациях, имеющих статус академических⁹, и в журналистике (Максим Шевченко, Александр Проханов). Они повторяли все те же старые клише и измышления (связь евреев с масонами / иллюминатами / тамплиерами, мечты этих и других уже упоминавшихся групп и персонажей о мировом господстве, их активное участие во всех войнах, революциях и прочих катаклизмах).

Я упомянула о проникновении конспирологии в академические исследования, поэтому мне был особенно интересен проведенный Виктором Шнирельманом анализ места конспирологических теорий в историографии и некоторых других областях гуманитарного знания. Речь идет о трудах Юрия Бегунова, Игоря Фроянова, Валентина Катасонова и других, использующих все те же идеологические штампы и псевдодокументы, а помимо этого – и хазарский миф, мифы о Федеральной резервной системе США, глобализации, штрих-кодах и прочие «страшилки». Автор также останавливается

на псевдонаучных работах постсоветской эпохи (труды Алексея Виноградова, Ларисы Бурлуцкой и других). В некоторых сочинениях такого рода встречается описание информационных войн как войн реальных, в ходе которых «уничтожается идентичность населения», совершается «цивилизационная перевербовка» и подобные вещи. Во всех них опять явственно проступает присущее авторам дуалистическое видение мира и его проблем. Такую литературу Виктор Шнирельман называет вторичной, но это можно сказать обо всей отечественной конспирологии, использующей одни и те же заимствованные из-за рубежа идеологемы и воздействующей на не слишком образованных и испуганных обывателей.

Автор также исследует рецепцию подобных теорий силовыми структурами, которые в настоящее время, как и в прошлом, готовы использовать нужную идеологию и нужных идеологов в карательных целях. Виктор Шнирельман напоминает, что унаследованный от советского периода антиамериканизм широко эксплуатируется современными российскими конспирологами, в писаниях которых именно США (вкупе с евреями или без них) обвиняются в стремлении к мировому господству и новому мировому порядку, к захвату всех ресурсов. Здесь мы видим переход от (псевдо)интеллектуальных конспирологических игр в сферу политики, куда некоторые идеи довольно успешно проникают. Нельзя не согласиться с процитированным автором высказыванием:

«Как отмечал Б. Фэй, в либеральных демократиях конспирология распространяется снизу, из масс, а при авторитарных режимах насаждается сверху и навязывается массам»¹⁰ (с. 352).

9 Ямилинец Б. Ф. *Россия и Палестина. Очерки политических и культурно-религиозных отношений (XIX – начало XX века)*. М.: Институт востоковедения РАН, 2003. Любопытно, что эта книга была издана тогдашним сотрудником Отдела Израиля этого института, хотя содержит явно ненаучные и антисемитские положения.

10 Fay B. *The Nazi Conspiracy Theory: German Fantasies and Jewish Power in the Third Reich* // *Library and Information History*. 2019. Vol. 35. № 2. P. 92.

Первое наблюдалось в России в 1990-е, а второе набирало силу начиная с 2004–2005 годов и особенно усилилось после 2013-го, когда конспирология проникла в высшие эшелоны российской власти, прежде всего в силовые структуры. Нельзя не восхититься смелостью автора, называющего многих сильных нынешнего мира. В отличие от плохо запомнившихся неспециалистам движений и идеологов 1990-х, эти люди и созданные ими движения и центры оказывали немалое влияние на политику и идеологию в России недавнего времени (и нередко продолжают делать это в наши дни). Их обслуживают различные фонды, аналитические центры и прочие институции, деятельность которых освещает Шнирельман.

Рост влияния конспирологии в России был следствием не только тяжелой экономической ситуации, вызванной в числе прочего радикальными реформами начала 1990-х, уязвленного национального и этнического самолюбия, а также всплесками антироссийских (и иногда антирусских) настроений во многих бывших советских республиках. Исследователь отмечает, что в России «теории заговора стали получать популярность и расцвели в течение последних 20 лет, став общественно значимыми» (с. 122), сравнивая Россию вслед за некоторыми исследователями с Германией эпохи Веймарской Республики и называя ее «Веймарской Россией».

Виктор Шнирельман подробно исследует проявления этой тенденции в современной российской масскультуре, включая художественную литературу, кинофильмы, онлайн-ресурсы. Многие из них паразитируют на конспирологических теориях (масоны, мировая закулиса, психотронное оружие и тому подобное). Он подчеркивает не только вторичность, но и мозаичность современной конспирологии в нашей стране. Освещая взгляды Александра Дугина и Юрия Воробьевского, автор подчеркивает,

что они содержат все тот же набор клише: мировой заговор / жидо-масоны / «протоколы сионских мудрецов» и так далее. Особенно колоритна фигура Дугина (которому в книге уделено немало внимания), «в разное время успешного побывать то членом “Черного Ордена SS”, то старовером, то евразийцем, то политологом, то эзотериком, то социологом» (с. 164). Однако эта предсказуемая смесь оказывается востребованной в последние 25–30 лет.

Несколько иначе конспирологические теории представлены у так называемых «левых интеллектуалов» (прежде всего идеологов и пропагандистов КПРФ). Однако, по сути, авторы этих трудов, как показывает автор, используют под несколько иным соусом все те же идеологические клише, напрочь забывая о марксизме, классовом подходе, интернационализме, которые мало совместимы с их конспирологическими воззрениями.

Впрочем, гораздо больше внимания в книге справедливо уделено разного рода правым националистическим, православным фундаменталистским, неоязыческим и иным течениям, широко использующим теории заговора, антисемитизм, антизападничество и антилиберализм, хотя и в несколько различающихся контекстах. Именно у правых конспирологов часто встречается противопоставление России как удерживающего и Запада, «покоренного антихристом». В их писаниях часто говорится, что парламентская система была навязана России евреями, которых эти сочинители нередко рассматривают в качестве «передового отряда воинства антихриста» (с. 403). Если таким «передовым отрядом» прежде был мировой империализм, то теперь им чаще всего становятся именно евреи, причем конспирологи нередко не ограничиваются религиозной доктриной, но переводят противопоставление в этническую и расовую плоскость. В ряде случаев к ним присоединяют католиков,

протестантов, экуменистов и других. Автор подчеркивает, что это – свидетельство христианской подосновы данного дискурса, нацеленного против как «векового врага» (иудеев), так и «еретиков» (с. 406). Виктор Шнирельман даже говорит о своеобразной конспирологической субкультуре (с. 408), со своими правилами и образцами поведения.

Эсхатологические настроения и поиски врага, вредящего России, удобны властям, которые желают переложить на других ответственность за проблемы страны, стремясь изображать Россию защитницей консервативных традиционных ценностей (что вполне подобает удерживающему). Такие идеологемы удобны и для внешней политики, при которой Россия противопоставляется Западу, представляемому в СМИ и выступлениях официальных лиц в качестве *вечного* антагониста; причем данная ситуация обосновывается не с классовой точки зрения, как это делалось в советское время, а через отношение «к христианским моральным ценностям» (с. 411), защитницей и хранительницей которых объявлена Россия.

Елена Носенко-Штейн, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН

Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны

Яков Клоц

М.: Новое литературное обозрение, 2024. – 376 с.

Яков Клоц – славист, преподаватель русской литературы в Хантер-колледже Городского университета Нью-Йорка; несколько лет назад он создал при своем учебном заведении «Tamizdat Project». Так что в каком-то смысле перед читателем промежуточный результат работы этого проекта.

Вопреки интригующему подзаголовку разговор в этой книге существенно шире, нежели о тамиздате самом по себе и о путях проникновения на Запад текстов, написанных по восточную сторону от «железного занавеса». При этом автор не ставит перед собой задачу охватить все многообразие тамиздатской продукции, смоделировать и проанализировать всю систему связей, соединявших авторов из СССР и их зарубежных издателей, все препятствия, которые приходилось при этом преодолевать, все уловки, к которым вынуждены были прибегать, опасности, которые необходимо было избегать, – обо всем этом здесь, конечно же, говорится, но вскользь, по ходу дела.



Клоц если и не первооткрыватель, то уж точно один из первоописателей и перво-систематизаторов: тема его исследований – «невероятные и почти никем еще не описанные приключения русской литературы, которую контрабандой вывозили из Советского Союза для публикации за рубежом» (с. 8). «Не менее знаковая составляющая русской литературы после Сталина» (с. 14), чем внутренние ее явления – самиздат и госиздат, – тамиздат, по словам автора, изучен существенно меньше, чем они; эту

ситуацию и призвана исправить его книга. Хронологические рамки исследования – 1960–1980-е, «с хрущевской оттепели и до окончания брежневского застоя» (с. 12).

Книга открывается обобщающим очерком «тамиздата как литературной практики и политического института» (с. 12), в котором проясняется понятие и очерчивается проблемное поле:

«Тамиздат – это текст со всеми формальными атрибутами печатного издания, опубликованный за рубежом после того, как он, то есть рукопись или машинопись, пересек границу страны происхождения. Чтобы считаться тамиздатом, текст должен оказаться в зарубежной литературной юрисдикции (по крайней мере до тех пор, пока не вернется на родину напечатанным), где он начинает новую жизнь. В узком смысле тамиздатом называют тексты, пересекающие государственную границу дважды: туда – в виде рукописи и обратно – уже как печатное издание. [...] Таким образом тамиздат сочетал в себе элементы официального и неофициального издания, поскольку наделял легальным статусом рукопись, запрещенную или не допущенную к официальному распространению на родине» (с. 15).

«[Не относится к тамиздату] литература эмигрантская, то есть тексты, которые были и написаны, и опубликованы “там”, в границах одного геополитического пространства. [...] Причина, по которой] “Доктор Живаго” – тамиздат, а произведения Набокова – нет, заключается не в тематике этих сочинений (обманчиво аполитичной в случае Набокова и несколько более злободневной у Пастернака), а в геополитическом местонахождении авторов по отношению к своим издателям: по одну сторону границы в случае Набокова, по другую – в случае Пастернака» (с. 18–19).

Систематического, всеохватывающего (хотя бы многоохватывающего) описания исследуемого предмета в книге, пожалуй, все-таки недостает; впрочем, возможности для этого определены во введении, где

предложена целостная модель, позволяющая увидеть все три формата книгоиздания позднесоветского времени – самиздат, гозиздат и тамиздат – как части единой системы (здесь же рассмотрены исторические прецеденты анализируемого явления). Но это и понятно: создание полной или приближающейся к таковой истории тамиздата – задача, слишком большая и, по всей вероятности, выходящая за пределы возможностей одного человека. Во всяком случае решение, предложенное автором, интересно несколько не менее – как и выводы, к которым он приходит.

Тему тамиздата Клоц раскрывает на конкретном материале, в немногих избранных сюжетах. Он рассматривает в книге всего пять случаев – зато, несомненно, ярких и важных. Притом первый из них, строго говоря, даже не относится к тамиздату – но именно «Один день Ивана Денисовича», впервые опубликованный в «Новом мире», спровоцировал, по мнению Клоца, появление феномена как такового, сыграв решающую роль в утечке за рубеж других рукописей, включая и самого Солженицына.

«Прорвавшись в официальную советскую прессу, повесть Солженицына не только “высвободила” множество других рукописей на ту же тему, написанных до или после “Ивана Денисовича”, но и невольно закрыла им путь к публикации на родине, вытеснив их из официального литературного поля сначала в подполье, а затем за рубеж, в тамиздат» (с. 65).

В «Тамиздате» четыре главы: об «Одном дне Ивана Денисовича», о «Реквиеме» Анны Ахматовой, о «Софье Петровне» и «Спуске под воду» Лидии Чуковской, о «Колымских рассказах» Варлама Шаламова. Вынесенный в обширный эпилог «тамиздат-проект» Абрама Терца (Андрея Синявского) в строгом смысле тоже не вполне умещается в рамки рассматриваемого явления в вышеприведенном его

понимании. При этом, скажем, драматический случай пастернаковского «Доктора Живаго» – по всем приметам классическая тамиздатская история – хотя неоднократно упоминается, но остается без подробного рассмотрения, в частности, потому что историю тамиздата автор отсчитывает с начала 1960-х, после публикации «Одного дня Ивана Денисовича». Соответственно, «Доктор Живаго» оказывается за его хронологическими рамками и относится, так сказать, к предыстории.

О каждом из этих случаев говорится с исключительной подробностью – любую из глав, при всей цельности повествования, можно счесть минимонографией. Клоц не только рассматривает весь, насколько возможно, контекст возникновения, издания и прочтения соответствующих произведений, но и подробно анализирует их устройство. Изданные за границей тексты авторов из СССР становятся для Клоца поводом и материалом к тому, чтобы рассмотреть несколько очень больших связанных друг с другом тем, выходящих далеко за пределы частных случаев.

Прежде всего это тема различного восприятия одних и тех же текстов русскоязычной читательской аудиторией по разные стороны «железного занавеса» – то есть тема культурных матриц, моделей мировосприятия, складывающихся (по большей части незаметно для их носителей) в результате большого исторического разлома. Вследствие этого автор, выполняющий, казалось бы, задачи историка-практика, оказывается еще и теоретиком культуры, показывая среди прочего, как старые эмигранты (не знавшие ни лагерного опыта, ни советской жизни вообще) многого не могли прочесть у тех же Ахматовой, Чуковской, Шаламова (а «некоторые эмигранты даже считали авторов, живущих в Советской России, в том числе Ахматову, своими идеологическими оппонентами» (с. 20)). Другой сюжет – то, как уже запад-

ные читатели видели в этих текстах прежде всего свидетельство, а не выдающиеся произведения литературы. Тем самым Клоц демонстрирует принципиальную зависимость литературного события от контекста прочтения.

Рассматривая в своей книге исключительно тексты, признанные шедеврами, автор, однако, предостерегает нас от того, чтобы «проводить границу между официальной литературой и андерграундом, включая сам- и тамиздат, по критерию художественной ценности или “качества”» (с. 16), соблазн чего в советское время был понятным образом очень силен. Клоц пишет:

«Одни и те же авторы порой печатались и в гозиздате, и в тамиздате. Второе, как правило, исключало первое, а тамиздатовские критики сами часто хвалили и охотно перепечатывали произведения, прошедшие советскую цензуру и появившиеся в гозиздате, как было с “Одним днем Ивана Денисовича” Александра Солженицына, “Не хлебом единым” Владимира Дудинцева и “Мастером и Маргаритой” Михаила Булгакова – и это далеко не полный перечень» (с. 17–18).

В целом же тамиздат, «хотя и “питался” нонконформистской литературой, отнюдь не ограничивался исключительно диссидентскими текстами» (с. 20). Более того, бывали случаи, когда «один и тот же автор до опалы мог находиться в авангарде гозиздата, а потом оказывался вытесненным в неофициальное пространство сам- и тамиздата» (с. 20), – именно таков был случай Солженицына. «Условное разделение на официальную и неофициальную сферы, – говорит Клоц, – едва ли применимо к тамиздату с его двойственной природой, сочетавшей в себе элементы обеих» (с. 21).

Очень интересен в «Тамиздате» содержательный разговор о природе социалистического реализма как явления не в послед-

ную очередь все-таки эстетического¹¹, о его пределах и исторической судьбе. Создававшиеся в СССР тамиздатские тексты, как показывает Клоц, располагались порой на воспаленной и подвижной границе соцреализма, а нередко и умещались в его рамки. Все обсуждаемые здесь тексты писались во время безраздельного господства соцреализма в официальной русской словесности, у каждого были с ним свои взаимоотношения разной степени сложности, каждый по-своему проблематизировал его рамки, нарушал его правила и, в конечном счете, способствовал запуску процессов, приведших к расшатыванию этих рамок.

Неудивительно, что самым лояльным эстетике соцреализма оказался «Один день Ивана Денисовича»: «Солженицын настолько тяготел к соцреализму, что, по словам Марка Липовецкого, на художественном уровне осуществлял то, с чем боролся на идеологическом» (с. 96). В эстетическом отношении совершенно органично смотревшийся на страницах глубочайше советского «Нового мира» этот текст без проблем вписывался в ожидания тогдашней читательской аудитории по эту сторону границы, благодаря чему и был сочувственно воспринят:

«Именно умелое использование эзопова языка, сочетание правдивого и дозволенного позволило Солженицыну совершить этот бесспорный прорыв, как и сама повесть “до такой степени потрясла читателей отчасти потому, что ее формы были им хорошо знакомы”, не говоря уже о шаблонных и просто фольклорных элементах» (с. 96).

И, наконец, отметим анализ теснейших взаимосвязей между эстетическим, этическим и политическим, для которого тамиздатские тексты и их судьбы дают мно-

го интересного материала. «Атмосфера “холодной войны”, – пишет Клоц, – размывала грань между политическим и художественным» (с. 16); но тем же самым она вообще позволяла увидеть принципиальную размываемость этой грани. Важно также, что Клоц обращает внимание на неустраняемую этическую проблематичность тамиздата (в ее опять же трудноотделимости от политического):

«[Самиздат и тамиздат] по крайней мере в конце 1950-х – начале 1960-х [...] исходили из разных этических посылов: если подпольное распространение рукописи в самиздате считалось актом гражданской солидарности, мужества и даже героизма, то позволить своей рукописи утечь за рубеж и увидеть (или не увидеть) ее опубликованной в тамиздате могло восприниматься как поступок, бесчестный и вероломный – едва ли не как предательство писателем своего гражданского долга» (с. 21).

Не забудем: западные издатели далеко не всегда интересовались согласием авторов из СССР на публикацию и уж подавно не согласовывали с ними публикуемые тексты. Отсутствие прямой коммуникации между авторами и издателями «приводило порой к письмам протеста и публичному отречению от публикаций за границей» (с. 21), – как раз один такой случай автор анализирует в главе о Шаламове.

«Кроме того, мало кто из писателей в 1960-е годы оставался полностью удовлетворен тем, как за рубежом обращались с их рукописями при публикации и прочтении. Разочарование вызывали не только уровень редактуры, включая опечатки, но и поверхностность откликов на их произведения в западной и эмигрантской периодике» (с. 20).

11 Хотя автор утверждает, что «социалистический реализм не просто художественный метод, поэтому он никогда и не поддавался точному определению, так и оставшись расплывчатым понятием» (с. 96). А цитируемый Клоцем Эндрю Вахтель вообще полагает, что «соцреализм – это то и только то, что таковым сочтет коммунистическая партия» (с. 97).

Самое же, пожалуй, интересное – выводы, к которым приходит автор: он подвергает радикальному переосмыслению сложившееся представление о советской культуре ее последних десятилетий «как об оппозиции между официальным и андерграундным “полями”» (с. 14). Все было, показывает Клоц, существенно сложнее. Именно судьбы тамиздата как литературной практики и политического института позволяют увидеть эту культуру как систему «транснациональную, динамичную и трехмерную» (с. 14).

Исследование зарубежных изданий созданных в СССР произведений на русском позволило автору проследить смыслообразующие процессы по обе стороны «железного занавеса» в их глубоком единстве. Тамиздатские тексты, несомненно, бывшие в послесталинские годы «еще и оружием на культурных фронтах “холодной войны”» (с. 13), и барометром ее «политического климата» (с. 16), представлены в книге как факторы не только «географического, стилистического и идеологического раскола между двумя, казалось бы, несопоставимыми, но все же тесно переплетенными ветвями русской литературы» (с. 13), но и – одновременно – преодоления этого разлома и выработки, в конечном счете, новой (разумеется, проблематичной внутренне) цельности. «Когда, – говорит Клоц, – текст возвращался к автору и читателям на родине, завершая цикл», – и только тогда – тамиздат полностью выполнял «свою политическую функцию» (с. 16). Но, как показывает автор, в не меньшей (зато в менее продуманной) степени он выполнял и – неотделимую от нее – функцию эстетическую. Он постепенно реформатировал эстетическое сознание, а с ним и мировосприятие в целом:

«Тамиздат в значительной мере сформировал русский литературный канон XX века. [...] Действуя по разные стороны границы, самиздат и тамиздат, [...] представлявшие собой] зеркальные противоположности,

[...] дополняли друг друга и, в конечном счете, должны были объединиться, образуя еще более действенную систему, позволявшую неконформистской русской литературе находить путь, пусть и окольный, к читателю» (с. 13, 19, 16).

И это не говоря уже о том, что, благодаря тамиздату, «тексты, созданные в России, [...] продолжали задавать ритм “сердцу” русской литературной диаспоры» (с. 12) и таким образом опять-таки работали на непрерывность эстетических и иных процессов.

На языке оригинала книга Якова Клоца опубликована несколько лет назад, став результатом многолетней исследовательской работы; соответственно, искать публицистические развороты в ней излишне. Сейчас, когда вышел русский перевод, «Тамиздат» читается совсем иначе: невозможно не проецировать на эту работу нынешние обстоятельства. В этом отдает себе отчет и сам автор: «Эта книга, – замечает он в постскриптуме, – написана в 2021 году, когда тамиздат еще казался историей» (с. 340). Теперь, когда разные части вновь разломившегося русского материка в очередной раз расползаются в разные стороны, а тамиздатские практики оживились, рассказанная Клоцем в пяти сюжетах история дает некоторые основания как для исторического скепсиса, так и для осторожного исторического оптимизма.

Прежде всего не стоит обольщаться никакой целостностью: внутри любой из них намечаются трещины, по которым ей рано или поздно предстоит расколоться. Невозможно не видеть и того, что во всяком подобном расколе едва ли не запрограммирована слепота, взаимное не-видение обитателей расползшихся частей материка, принципиальное недопонимание ими друг друга (подобно тому, как некоторые эмигранты первой волны не понимали Ахматову или Шаламова). Но части того, что еще недавно воспринималось как культурная

общность, по всей вероятности, не так уж противоположны друг другу, как кажется сегодня. Рано или поздно они начнут срастаться.

Ольга Балла-Гертман

Что мы делаем в постели. Горизонтальная история человечества

Брайан Фейган, Надя Дуррани

М.: Альпина нон-фикшн, 2024. – 302 с. – 2000 экз.



«То, чего нельзя сделать в постели, не стоит делать вообще», – несмотря на то, что авторы открывают свою работу этой чуточкой настораживающей фразой, заимствованной у одного из американских комиков, пугаться не стоит: это вполне серьезная книга. Написавшие ее люди известны в научном мире: Брайан Фейган – почетный профессор антропологии Калифорнийского университета (Санта-Барбара), историк и археолог с мировым именем, а Надя Дуррани – бывший редактор журнала «Current World Archaeology» и создатель нескольких учебников по археологии. В нашем случае

эти специалисты обратились к истории повседневности, собрав впечатляющий исследовательский материал о том, как на протяжении тысячелетий менялось человеческое спальное место и какие функции оно выполняло. У них получилось изучение природы, которую не без оснований можно назвать уходящей: если в стародавние времена в постели делали практически все – скажем, древние египтяне использовали ее для контактов с духами, а современники Шекспира для дружеского общения, – то в наши дни функциональный диапазон этого места существенно сузился, а сомнологи рекомендуют использовать его только для сна и секса. Но это не делает предложенную тему менее интригующей, ибо в кровати так или иначе мы по-прежнему проводим треть своей жизни.

Мы почти ничего не знаем о том, на чем спали наши самые древние предки. Тем не менее в распоряжении ученых сегодня имеются обнаруженные в Южной Африке лежанки для сна, выкопанные в полу пещеры около семидесяти тысяч лет назад. На такую родословную указывает и протогерманский корень слова *bed*, отсылающий к «месту отдыха, вырытому в земле» (с. 12). В такой манере люди спали довольно долго; человеческая кровать более или менее приблизилась к современному виду лишь около пяти тысяч лет назад. Правда, совершенствование пространства сна затрагивало в основном узкую страту имущих и знатных. Наличие спальни как отдельной комнаты символизировало привилегированное положение и принадлежность к верхушке общества, хотя даже в подобных случаях она оставалась частью публичного пространства, откуда порой вершили и управление государством. Кроме того, будучи местом, где человек появлялся на свет и где он расставался с жизнью, кровать вовлекалась в ключевые «ритуалы перехода», что, разумеется, повышало ее цивилизационную значимость.

Интересно, что в некоторых сообществах сон на земле предпочитали сну на кроватях, и этот культурный выбор не зависел от богатства. Сон на земляной лежанке или на какой-то другой твердой поверхности не воспринимался как неприятность до тех пор, пока люди не озадачились вопросами общественного престижа. Как только неравенство стало отличительной чертой человеческой цивилизации, кровать на ножках превратилась в способ обозначить свое социальное превосходство. В большинстве случаев, чем ближе к полу человек спал, тем беднее он был. Основные элементы современной кровати появились к позднему Средневековью: в те времена кровать часто была наиболее желанным и самым дорогим предметом домашней обстановки. Соответственно, она нуждалась и в кропотливом обслуживании: например, утвердившиеся с наступлением Нового времени бытовые стандарты требовали, чтобы матрасы переворачивались ежедневно, а наволочки менялись дважды в день. Однако после Первой мировой войны, когда горничных стало гораздо меньше, заправка сложно устроенной постели для многих женщин сделалась невыносимой.

«Домашние хозяйки вздохнули с облегчением лишь в 1970-е, когда дизайнер Теренс Конран популяризовал шведское пуховое одеяло и пододеяльник. Впервые в истории кровать можно было застелить за три секунды» (с. 45).

Авторы предлагают читателю комплексный взгляд на бытование кровати, освещая как ее прямые, так и деривативные функции. Рассуждая о том, где люди спят, они не могли обойти вниманием самого процесса сна, а также таких феноменов, как сновидения и бессонница. В книге для этих сюжетов, тоже преподносимых в исторической перспективе, предусмотрена отдельная глава, которую, как представляется, вполне можно было бы сократить. Бесспорно,

нельзя не согласиться с констатацией того, что для современной цивилизации потребление снотворного превратилось в неотъемлемый элемент «нормальной жизни»: если в 2014 году общемировые расходы на медикаментозные средства для сна оценивались примерно в 58 миллиардов долларов, то к 2023-му эта цифра превысила 100 миллиардов, причем львиная доля этих средств приходится на высокоиндустриальные общества (с. 58). Однако вместо непомерно пространственных рассуждений о том, как желание уснуть в различные эпохи поощряло потребление валерианы, опиума или алкоголя, вполне можно было бы ограничиться более кратким резюме.

Авторы, собственно, и сами бегло отмечают более продуктивный подход к проблеме: если вам не спится, рассуждают они, ничего страшного, естественные режимы сна, на кровати или без нее, на протяжении тысячелетий были многофазовыми, а периоды сна и бодрствования за сутки могли чередоваться несколько раз, и никто от этого не умирал. Дело просто в том, что маниакальная борьба наших современников с бессонницей выступает одним из элементов культа так называемого «здорового тела», которому нынешняя культура почему-то предписывает на протяжении ночи спать беспробудно. Авторский рецепт в этом отношении по-даосски прост – нужно следовать естественности:

«Те, кто обнаружил, что их естественный режим сна двухфазный, могли бы просто просыпаться среди ночи и делать, что хочется, а не тянуться за снотворным или панически следить за стрелками на циферблате. В конце концов, можно много сделать и в постели» (с. 65).

Если связь кровати со сном выглядит местами не слишком убедительной, то ее корреляция с сексом, очевидно, прочнее. Уже в ранних цивилизациях, рассуждают авторы во вполне марксистском ключе,

упорядоченная передача власти и собственности была невозможна без контроля над сексуальным поведением женщин – и одним из средств такого контроля становилось брачное ложе. У греков и римлян мужские и женские роли были четко разделены: имея тот же юридический статус, которым обладали дети и рабы, женщины подчинялись своим отцам, братьям и мужьям. Секс и деторождение рассматривались в качестве вмененного им долга, хотя как в греческих, так и в римских текстах о постельных радостях тоже говорится довольно много. В этом смысле кровать иногда выступала «великим уравнивателем» полов, несмотря на патриархальные уклады крупных цивилизаций.

Кроме того, существовали и такие культуры, где женщины в интимных вопросах оказывались на первых ролях – или по крайней мере на равных с мужчинами. Как правило, в подобных культурных контекстах – причем христианская Европа к ним явно не относилась – сексуальные аспекты жизни не замалчивались, а обсуждались открыто; в качестве наиболее прямых и нейтральных в работе упоминаются китайские книжники, чьи руководства по «искусству луны и ветра» представляли собой «каталоги конкретных пожеланий и инструкций» (с. 81).

Интересно, что на протяжении большей части человеческой истории кровать почти не использовалась для родов: «женщины хотели изоляции, а в маленьких, переполненных городских жилищах найти ее было нелегко», и поэтому они предпочитали те или иные временные убежища. Переход к деторождению на кровати наблюдается с XVI века и связан с появлением современной акушерской хирургии во Франции, а к концу следующего столетия это обыкновение распространилось на всех француженок, за вычетом крестьянок из сельских районов. В аристократических британских семьях бытовала мода на специальные

переносные кровати, предназначенные только для рожениц; рождение ребенка вне супружеской кровати позволяло ослабить ассоциативную связь между сексом и появлением новой жизни, что было важно для ханжеской Британии XIX века.

В Китае же религиозные представления, напротив, стимулировали появление такого типа кровати, который опережал свое время – и облегчал родовые муки. Дело в том, что приверженность китайцев к высоким кроватям, на которых рожали их женщины, связывают с буддизмом, широко распространившимся в Поднебесной к середине II века. Система новых верований изображала Будду сидящим на возвышении, а не просто на постеленной на землю циновке, что повлекло за собой моду на платформы, возвышающиеся над полом и рассматриваемые в качестве почетных мест для особых гостей или официальных лиц. «Со временем платформы удлинялись и все чаще использовались для отдыха, а затем превратились в приподнятые кровати» (с. 103).

Наконец, на кроватях еще и умирают. Согласно одному из упоминаемых в книге исследований, 70% современных западных людей предпочли бы умереть в собственной постели – хотя это желание остается не сбывшимся для тех 50%, которые расстается с жизнью на той же стерильной больничной койке, на которой когда-то родились. Как утверждают авторы, «желание умереть в собственной постели отражает устойчивую связь между сном, смертью и воображаемой загробной жизнью» (с. 118). В течение тысячелетий эта связь осознавалась весьма четко: так, в Ветхом завете одно из слов, обозначающих кровать, совпадает с финикийским словом *mshb*, обозначающим гроб, а валлийское слово *bedd* тоже означает одновременно и кровать, и могилу (с. 119).

Удобное смертное ложе служило идеальным способом транслировать живым представление о своем статусе на земле и на небе. Немногие культуры смогли до-

вести этот символизм до такой крайности, как это сделали древние греки. Возлежать на обеденном диване (клине) во время еды считалось в греческом социуме благородным занятием, и потому использование этих кроватей в обрядах погребения выглядело вполне логично. На Западе погребальное клине в основном вышло из моды с падением Римской империи, хотя имеются захоронения даже XVI века, скульптурные фигуры которых опираются одной рукой на ту же кушетку. В более поздние времена викторианцы порой устраивали посмертные прощания в гостиной, укладывая усопшего родственника на классическое клине – шезлонг, или «кушетку для обмороков». Во многих культурах само смертное ложе было, по существу, социальным пространством, где собирались друзья, семьи и другие люди, часто в большом количестве.

Роль кровати в социализации проявляется не только в скорбных ритуалах, но в совместном ее использовании: «Уязвимость спящего человека в темное время суток размывала социальные границы, а общая постель позволяла выходить за пределы дневных норм» (с. 153). Авторы отмечают, что в прошлом кровати зачастую использовались коллективно и поэтому в какие-то моменты на одном матрасе могли оказаться самые разные группы людей: большие семьи, компании друзей, хозяева и слуги, а порой и вовсе незнакомцы. По большей части совместный сон был обусловлен практическими соображениями, так как, во-первых, отнюдь не каждый мог себе позволить такую роскошь, как отдельное спальное место, а во-вторых, в мире без электричества соседи по кровати не давали друг другу замерзнуть. Для многих обществ совместный сон остается нормой и в наши дни, хотя, если вынести за скобки совместные ночи с детьми, иными приятными людьми, а также домашними питомцами, преобладающей формой в нынешние времена остается индивидуальный сон.

Поскольку спать человеку приходится не только дома, авторы останавливаются на мобильных вариантах спальных мест, среди которых спальные мешки, надувные матрасы и гамаки. В частности, из книги можно узнать и о существовании совсем уж экзотических вариантов – например, о «парящей кровати», которую разработал голландский дизайнер Янъяп Рёйссенарс и которая способна висеть в воздухе в полуметре над полом. Комплект взаимоотталкивающих магнитов, встроенных в такое спальное ложе и в пол под ним, способен удерживать на весу почти тонну; иначе говоря, эта штука очень подходит и для коллективного сна, хотя взять ее с собой в путешествие едва ли получится. Впрочем, кого-то, вероятно, может смутить цена, в 2019 году составлявшая тридцать тысяч долларов (с. 183). Рассуждая в этом контексте о кроватях будущего вообще, авторы обращают внимание на то, что все капсулы, тенты, купола, а также летающие и плавающие спальные ложа завтрашнего дня имеют общую особенность: они теснейшим образом связаны с внешним миром. Некоторые матрасы уже оснащают USB-портами и подключают к *Bluetooth*, а до синхронизации наших кроватей со смартфонами остался один шаг – и он поменяет многое.

Останавливаясь в заключение на постельных пластах жизни наших современников, авторы подчеркивают неразрывную связь нынешних представлений о сне с принципом приватности. Спальню человека, живущего сегодня в какой-нибудь развитой стране, скорее всего посетили единицы. Корректировки социальных представлений о кровати происходили синхронно с оформлением представлений о неприкосновенности частной жизни: приватность в нынешнем ее виде существует всего полтора века, и столько же насчитывает история спальни в современном смысле. Как полагают авторы, «покой личной спальни – одно из величайших достояний, оставлен-

ных нам в наследство людьми викторианской эпохи» (с. 238). В итоге приватность спальни сегодня соблюдается во всех уголках индустриальных стран и в богатых домах мира в целом, а время, которое мы проводим в постели, еще никогда не было настолько спокойным.

Завершая свой труд, авторы удивляются: «Даже в самых смелых мечтах трудно было себе представить, что мы, археологи, напишем книгу о кроватях – предмете мебели, в котором человек проводит треть своей жизни!» (с. 259). Тем не менее в ре-

зультате появилось пусть и непритязательное, но весьма любопытное повествование, которым можно развлечь себя на ночь, устроившись на мягких перинах объекта авторского исследования. Бесспорно, погружаясь в тему, авторы книги часто отвлекались на вещи, непосредственно с кроватью не связанные; но таков уж закон жанра, в котором они на этот раз работают. В целом же у них получилось довольно увлекательно.

Юлия Крутицкая